
ТИЩЕ
ЛИЯ ЧЕН

Лия Чен
Тише, мы в эфире

https://litres.ru/74778112
SelfPub; 2026

Аннотация

Соня ведёт ночную рубрику на студенческом радио. Говорит вполголоса, шутит на каждом шагу и никому не рассказывает, что год назад написала разгромную рецензию на чужую книгу.

Макар пишет романы, считает слоги в чужих фразах только по привычке и не узнаёт людей по голосу. Зато каждую ночь звонит в студенческий эфир к тихой ведущей, которой может рассказать то, чего не скажет днём. А днём у него есть цель: найти автора той самой рецензии и сказать ей в лицо, что он всё ещё жив.

Можно ли быть честной в эфире, если вся твоя жизнь держится на одной маленькой лжи? И что останется от тайны, когда в студии зажигается красная лампа?

Молодёжная романтика, радио, университет, тайная личность, слоуберн, лёгкий юмор и немного щемящего.

Содержание

Глава 1 4
Глава 2 14
Глава 3 27
Конец ознакомительного фрагмента. 28

Лия Чен
Тише, мы в эфире

Глава 1

Соня

Радиостудия нашего вуза живёт на четвёртом этаже, между кладовкой, где хранят списанные проекторы, и туалетом, в котором уже второй год не работает сушилка, и в полночь это самое романтичное место на свете. Я не шучу. К полуночи корпус пустеет, вахтёрша внизу включает сериал вполголоса, батареи начинают стрекотать как сверчки, а в студии остаётся гореть одна лампа, и всё, что попадает в её круг, становится моим: стол, микрофон в синем поролоне, кружка с отбитой ручкой и я, девятнадцать лет, юрфак, третий курс, свитер с чужого плеча.

Гоша, наш звукорежиссёр, на ночь выставляет автоматику и уходит домой, оставив мне пульт с одной кнопкой, которую нельзя трогать. Её подписали маркером: *«НЕ ТРОГАТЬ, СОНЯ»*. Лично мне. Я понимаю, что это самый точный портрет, который кто-либо с меня писал.

Ночная рубрика называется *«Абзац на ночь»*, и придумала её я, за что до сих пор слегка собой горжусь и слегка стыжусь. Устроено всё просто: я читаю один абзац из книги, которая,

по моему мнению, заслуживает быть прочитанной вслух, а потом минут десять говорю о ней с теми, кто не спит. Не слушатели, а скорее экипаж: одиннадцать человек в чате, из которых двое сокурсники, один бот, который поздравляет всех с чем попало, и ещё Дина, моя соседка по комнате, которая сидит под ником *«Не_Дина»*и делает вид, что мы незнакомы.

Говорю я, кстати, шёпотом. То есть почти. В первую ночь мне было так не по себе от пустого здания и собственного голоса, летящего неизвестно куда, что я придвинулась к микрофону вплотную и заговорила как в библиотеке. И кто-то в чате написал: *«Вот так, пожалуйста, всегда. У нас тут все спят»*. С тех пор я стала Полуночницей, а мой голос в эфире превратился в нечто низкое и медленное, совсем не похожее на то, как я разговариваю днём. Днём я звонкая, быстрая и несносная. Дина говорит, что ночью я человек, а днём пулемёт с красивой причёской.

Сегодня я читаю абзац про героя, который двадцать страниц не может открыть дверь. Не потому, что она заперта, а потому, что за ней может оказаться то, чего он ждал всю жизнь, и тогда придётся что-то делать. Мне эта книга нравится ужасно. Я закрываю последнюю строку, держу паузу ровно столько, сколько учила (*считаю про себя: «ту-ту-ту»*), и говорю в микрофон:

– Вот и всё, друзья. Герой наконец взялся за ручку, а мы с вами пока остановимся на пороге, потому что порог это самое безопасное место в литературе. Из него можно выйти

в любую сторону.

В чате прилетает «а я вот в двери всегда ломлюсь» от ника «сова_сессия», потом «лайк» от бота, потом *«Не_Дина»*пишет:*«Хорошо, Полуночница, шёпот – огонь»*. Мы же не знакомы, да.

Я улыбаюсь в микрофон, и тут на пульте мигает лампочка городской линии. Это городской телефон, номер которого знают, кажется, только мои слушатели и налоговая. Звонят мне не чаще раза в неделю, да и то чаще всего ошибаются. Я поднимаю трубку, включаю линию в эфир и говорю, как всегда, вполголоса:

– «Абзац на ночь», вы в эфире.

В трубке молчат. Там гудит чужая комната: где-то тикают часы, что-то щёлкает, возможно, ручка. Я уже готова сказать *«алло»*и, по привычке, пошутить, как слышу:

– Здравствуйте. Я не знаю, как это делается.

Голос мужской, молодой, чуть севший, будто человек долго молчал или долго не решался. Я откидываюсь на спинку стула.

– Очень просто. Вы говорите, я слушаю. Если что-то пойдёт не так, мы разделим вину поровну.

– Звучит справедливо.

– Я вообще справедливая. Назовёте имя?

– Лучше нет. – Он коротко смеётся, и этот смешок получается таким неловким, что мне вдруг хочется его пожалеть. – У меня тут… в общем, звонок на «ночь» вызывает ощуще-

ние, что можно говорить без имени. Это ничего?

– Это почти правило. Здесь все без имён. Меня тоже не зовут Полуночница, мама бы обиделась.

Он снова смеётся, уже спокойнее, и я чувствую, как у меня внутри что-то мягко щёлкает: так бывает, когда в каталоге вдруг находишь пропавшую карточку, хотя никто не знал, что она пропала. Это глупое чувство, и я прогоняю его, пока оно не успело стать заметным.

– Вы читали про героя и дверь, – говорит голос. – Я слушал. У меня есть рукопись, триста страниц, почти триста. Я дошёл до середины, и она не сдвигается. Год. Вернее, примерно год. Я не то чтобы считаю.

– А вы считаете, – говорю я, и в чате кто-то ставит смайлик.

– Считаю. Каждый вечер, – признаётся он. – Я не знаю, зачем звоню. Мне показалось, вы поймёте. Вы так читали про дверь, что я подумал…

Он замолкает. А я, к своему ужасу, ловлю себя на том, что считаю слоги. «*Я не знаю, зачем звоню*»: семь. «*Мне показалось, вы поймёте*»: восемь. Это у меня с детства, когда я нервничаю, я разбираю чужие фразы на слоги и складываю их в стопки, как монетки, пока не успокоюсь. Сейчас я нервничаю, и непонятно почему: он же просто звонит, и я не его мама.

Первая мысль, которая приходит мне в голову, такая: пошутить. Что-нибудь про середину, которая у всех рукописей

провисает, как бельё на балконе, и про то, что бельё хотя бы можно подтянуть. У меня есть заготовка, она вылетает из горла сама, как кашель. Но я, не знаю почему, её проглатываю.

– Середина всегда страшнее начала и конца, – говорю я медленно, и голос у меня получается ещё тише, чем обычно. – В начале вы всё обещаете, в конце всё выясняете, а посередине надо просто жить с тем, что наобещали. Это плохое время. Там никто не хлопает.

– Да, – тихо говорит он. – Именно так.

– Только я бы не стала думать, что дело в тексте. Это часто не про текст. Это про то, что вы боитесь его закончить, потому что тогда его начнут оценивать.

Тишина. Часы на том конце тикают, и я сначала слышу только их, а потом что-то странное, вроде короткого выдоха.

– Вы говорите как человек, которого оценивали, – произносит он.

И я смеюсь. Конечно, совсем не вовремя: коротко, громко, прямо в микрофон, так что в чате вспыхивает *«О!»*, а мне хочется закрыть рот ладонью и нырнуть под стол. Потому что на самом деле всё наоборот. Это я оценивала. Но я об этом не говорю, а он ничего не понимает и тоже смеётся, осторожно, как человек, который проверяет, выдержит ли лёд.

– Простите, – говорю я. – Профессиональное. Я читаю вслух чужие книги и, видимо, заразилась их нервами.

– Нет, нормально. Вам идёт, – отвечает он и тут же по-

правляется: – Ну, то есть эфиру. Смех. Эфиру идёт смех.

– Передам эфиру.

Мы замолкаем. Я уже вижу на таймере, что пора ставить песню, и понимаю, что не хочу. Это очень странно: за год ночных эфиров мне ни разу не хотелось растянуть звонок. Я чаще мечтала, чтобы он закончился.

– Можно я позвоню ещё? – спрашивает он.

– Линия открыта, – говорю я самым ровным тоном, на какой способна. – Я не обещаю, что смогу помочь. Но обещаю, что не буду шутить про бельё.

– Про какое бельё?

– Не важно. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи, Полуночница.

Он кладёт трубку. Я ставлю песню, не помню какую, что-то медленное, и сижу, глядя на кнопку с надписью *«НЕ ТРОГАТЬ, СОНЯ»*. В чате Дина пишет в личку, нарушая все договорённости: *«Ты там живая? Ты три минуты не шутила. Я засекала»*. Я отвечаю: *«Это был профессиональный приём»*. Она отвечает: *«Ага»*.

Домой я иду в половине второго, по пустому двору, где фонари горят через один, и вдруг замечаю, что пересказываю себе этот разговор. Раз, второй, третий, как стишок, который хочется запомнить. *«Вы говорите как человек, которого оценивали»*. Я останавливаюсь у подъезда и очень внятно, вслух, говорю сугробу:

– Нет. Нет-нет-нет, это ничего не значит.

Сугроб, разумеется, молчит. У него в этом смысле всё хорошо.

Утром я просыпаюсь с чувством, что меня разобрали и собрали обратно, но два винтика осталось лишних. Спала я часа три. Дина в комнате уже ходит туда-сюда с зубной щёткой во рту и пересказывает вчерашний эфир:

– Он был такой… Ну, знаешь. Живой. Не как все эти, которые звонят и спрашивают, есть ли у тебя парень.

– У меня есть парень? – вяло уточняю я.

– Нет. И они это быстро выясняют. А этот – про рукопись. Ты слышала, как он дышал? Я прямо услышала, как человек дышит.

– Дина, это радио, там все дышат.

– Не так. – Она наконец вынимает щётку и вздыхает. – Ладно, вставай, у тебя в десять собрание, ты забыла? Павел Игоревич писал в чат. С восклицательным знаком. Один.

Один восклицательный знак от Павла Игоревича это почти как знак *«опасность, обвал»*. Я встаю.

Собрание проходит в студии, и по одному этому видно, что дело серьёзное, потому что обычно Павел Игоревич предпочитает собирать нас в коридоре у окна: *«чтоб не засиживались»*. Сегодня в студии стоят все стулья, которые нашлись, включая сломанный, на котором сидит Гоша, балансируя как цирковой. Нас человек восемь: ведущие утреннего и дневного, новости, пара первокурсниц, которые ещё не решили, нравится ли им радио, и я, у которой под глазами

то, что Дина называет *«вокзальными тенями»*.

Павел Игоревич стоит у окна с кружкой, на которой написано *«Лучший куратор по версии самого куратора»*. Это подарок от предыдущего набора, и мне всегда казалось, что он хранит эту кружку, потому что она единственная, кто с ним согласен. Он человек в годах, с седой бородкой, всегда слегка растерянный, как будто только что вспомнил, что оставил дома что-то важное, но не помнит что.

– Коллеги, – говорит он и замолкает. Это его фирменная пауза. Обычно за ней следует шутка. Сегодня шутки нет, и меня холодит где-то под рёбрами. – Новости будут неприятные, и я решил, что лучше сказать всё сразу, а не по частям. Вчера мне позвонили. Вернее, не позвонили, а вызвали.

– Кто? – спрашивает Гоша со своего цирка.

Павел Игоревич медленно, почти не двигая головой, показывает глазами в сторону двери. В сторону коридора. И все мы, как по команде, понижаем голос, потому что знаем, что находится в конце того коридора. Кабинет Громова. Директор института, человек, чья подпись стоит на всём, что нас кормит, и чьих шагов мы побаиваемся так, как некоторые боятся шагов за спиной.

– В общем, – продолжает куратор шёпотом, – если за этот семестр, то есть за шестнадцать недель, мы не набираем в эфире и онлайн устойчивую аудиторию, три тысячи слушателей в неделю, радио закрывают. Совсем. Помещение отдают под архив.

Тут я делаю то, чего от себя совсем не жду. Я смеюсь. Негромко, коротко, но так, что все на меня оборачиваются.

– Простите, – говорю я. – Просто я представила, как проекторы из соседней кладовки и мы будем делить помещение. Они хотя бы не жалуются.

Никто не смеётся. Гоша трёт переносицу, одна из первокурсниц тихо говорит «ой». Павел Игоревич смотрит на меня с таким выражением, какое бывает у людей, которые слишком давно знают, что я так делаю, и ещё не придумали, как с этим жить.

– Соня, – говорит он, и это слово звучит у него как *«пожалуйста»*. – Это не шутка. Мне дали шестнадцать недель, и условие у меня одно: чтобы радио начало жить. Не продержалось, а начало.

– Но мы же слушаемся, – подаёт голос ведущая дневного эфира. – У нас вон в чате…

– В чате одиннадцать человек, из них четверо это мы, – сухо замечает Гоша. И тут же сдувается под взглядами. – Я просто считаю.

Павел Игоревич кивает, как человек, которому очень хочется возразить, но нечем.

– Поэтому мы меняем формат, – говорит он. – Вечерний слот, с семи до восьми, который у нас сейчас занят всем подряд, отдаём под новое шоу. Назовём его *«Пара слов»*. Ведущих будет двое. Ночной эфир остаётся как есть, он, как ни странно, единственное, что у нас хоть кто-то слушает.

– Двое, – повторяю я. – А кто?

– Ты, – говорит Павел Игоревич. – И ещё человек. Я его уже нашёл. Он начинающий автор, филфак, третий курс, интересная речь. – Куратор делает глоток из своей кружки и смотрит на меня виновато. – Вы будете вести вечер вдвоём. Он придёт сегодня в пять.

Во мне поднимается что-то горячее и возмущённое, и я уже открываю рот, чтобы сказать: *«Я не умею делить микрофон, я его вообще-то люблю одна»*. Но тут Павел Игоревич достаёт из кармана листок и, щурясь, читает по бумажке, будто боится ошибиться:

– Левшин. Макар Левшин.

Я перестаю дышать. Не в смысле театрально, а в самом прямом: воздух идёт внутрь, а обратно не выходит. Ма-кар Лев-шин, считаю я. Четыре слога. Ровно четыре, как четыре удара сердца. И вдруг вспоминаю, где я видела эти четыре слога: крупно, жирным шрифтом, в заголовке. В моём собственном заголовке, над текстом, который я писала ночью, злая и очень уверенная в своей правоте.

– Знакомая фамилия? – спрашивает Гоша, глядя на меня.

– Нет, – говорю я слишком быстро. – Нет, что ты. Просто… красивая.

И я, кажется, снова смеюсь.

Глава 2

Соня

Весь день я прожила на автопилоте, как человек, которому сказали, что в пять к нему придёт судебный пристав, и он решил до этого момента вести себя естественно. Естественно получалось плохо. На гражданском праве я записала в конспект *«Левшин»*вместо *«Левшина»*, на уголовном вообще ничего не записала, а в обед Дина поставила передо мной тарелку и спросила, не заболела ли я, потому что я за две минуты не пошутила ни разу.

– Заболела, – сказала я. – Новым напарником.

– Ой, да ладно тебе. Это же тоже контент. Вдруг он красивый?

– Дина, он филолог. Они красивыми не бывают, они бывают интересными, а это диагноз.

Дина хмыкнула и стала поливать борщ сметаной с таким видом, будто решила не мешать мне страдать. Я не стала объяснять ей, что дело совсем не в красоте. Про мой книжный канал в нашей комнате не знает никто, ни Дина, ни мама, ни даже пыльная курица на подоконнике, которую Дина зовёт Валентиной. Канал называется *«Бумажный шум»*, подписчиков у него четыре тысячи, и год назад на нём вышла рецензия на самиздатовский роман, которую до сих пор время от времени цитируют в чужих комментариях. Не вся, к

счастью, а одна фраза. Я знаю её наизусть и поэтому стараюсь не вспоминать, но в такие дни она включается сама, как реклама:*«Текст, в котором автор так бережно прячет героя от читателя, что к финалу читатель перестаёт его искать»*.

Ужасная фраза. Красивая и ужасная. Из тех, которые пишешь в два часа ночи с ощущением, что ты наконец-то нашла слово, а утром оказывается, что нашла нож.

Без пяти пять я стою у двери студии с пакетом печенья и пытаюсь убедить себя в двух вещах. Первое: фамилия Левшин не такая уж редкая, и автором того романа он вполне может не быть, потому что на филфаке авторов полкурса. Второе: даже если он автор, под рецензией я не подписывалась, и найти меня невозможно. Обе мысли звучат разумно, пока я их не проговариваю вслух. Когда проговариваю, из каждой торчит кончик нитки.

Гоша уже на месте. Он сидит на своём сломанном стуле перед пультом и делает вид, что занят, а на самом деле слушает, как стучат мои каблуки по коридору. Это у него профессиональное: он различает людей по шагам так же, как врач по кашлю.

– Ты идёшь как на казнь, – говорит он, не поворачиваясь.

– Я иду как на работу.

– Это одно и то же. Чай будешь? Я поставил чайник.

– Я с печеньем.

– Тем более.

Чайник у нас электрический, ему лет сто, и он кипит с таким звуком, будто внутри него идёт тяжёлое совещание. Я наливаю себе кружку, с отбитой ручкой, сажусь за стол и тут же встаю, потому что сидеть невозможно. Хожу от окна к пульту. Передвигаю подставку микрофона на два сантиметра вправо и сразу возвращаю на два сантиметра влево. Гоша наблюдает за этим с вежливым интересом.

– Соня, – говорит он наконец. – Это просто парень.

– Я знаю.

– Он, наверное, тоже волнуется.

– Он автор. Авторы не волнуются, они страдают. Это другое.

Дверь открывается без стука. Так входят либо хозяева, либо люди, которые не успели придумать, как постучать. Я понимаю, что это второй случай, потому что парень в дверях замирает на пороге, будто натолкнулся на невидимую занавеску, и по очереди осматривает комнату: пульт, поролоновый микрофон, Гошу, меня. Он высокий, очень, ему приходится слегка пригибаться под косяком, хотя косяк тут нормальный. Худой, нескладный, в сером свитере с растянутыми рукавами, из которых торчат запястья, и вот на запястье у него, на правой руке, синей ручкой написано что-то мелкое. Я читаю быстрее, чем успеваю подумать, что неприлично: *«ходит как будто извиняется»*.

Я не знаю, про кого это. Надеюсь, не про меня.

– Привет, – говорит он. – Я, кажется, по адресу. Макар.

Левшин.

– Кажется, по адресу, – соглашается Гоша и протягивает руку. Парень пожимает её левой, и Гоша на секунду зависает, а потом смеётся: – А, ну да. Левша Левшин.

– Фамилия обязывает, – серьёзно говорит Макар. – Это такая семейная работа: делать всё не с той стороны.

И вот тут со мной случается то, ради чего я, наверное, и родилась на свет: у меня вылетают слова.

– В смысле, что ты левый по всем вопросам?

Тишина в студии получается такая густая, что слышно, как внутри чайника догорает совещание. Гоша медленно закрывает глаза. Макар смотрит на меня, и я наконец-то вижу его лицо целиком: длинное, с резкими скулами, с тёмными бровями, одна выше другой, и глаза не злые, а скорее настороженные, как у человека, который привык, что шутки в его адрес бывают с сюрпризом.

– По всем, – говорит он после паузы. – Особенно по налоговым.

Я смеюсь, и это самый нелепый смех в моей жизни, потому что смеюсь я с облегчением, а он, кажется, тоже. Всё остальное тут же становится проще. Он подходит к столу, оглядывается, ищет, куда бы себя деть, и в итоге ставит рюкзак на подоконник, а локтем при этом сдвигает мою кружку, которая стояла справа от пульта. Кружка делает пол-оборота и замирает у самого края.

– Прости, – говорит он, подхватывает её левой рукой и

поворачивает ручкой к себе. – О, а тут ручка отбита с правой стороны. То есть для левши это почти заводская комплектация.

– Это моя кружка.

– Я заметил по характеру. – Он осматривает её с интересом знатока. – Хорошая. Скол честный.

– Ты разговариваешь с моей кружкой?

– Я с ней знакомлюсь. Ты же не против?

Я сама не понимаю, почему вместо *«против»*говорю:

– Чай будешь?

Он кивает. Гоша наливает ему во вторую кружку, пластиковую, под которой на дне прилип чей-то давний пакетик. Мы с Макаром садимся напротив друг друга за узкий стол, и я с запоздалым ужасом понимаю, что вблизи он пахнет мятной жвачкой и типографской краской, как человек, который слишком много носит с собой бумаги. Ребро его левой ладони синее от чернил. Я знаю такую ладонь. Это ладонь человека, который пишет быстро и не поднимает руку.

Мне вдруг приходит в голову странная мысль: вчера ночью в трубке был тоже человек, который писал. Не в тот момент, но вообще: у него голос был такой, как у людей, привыкших записывать. Я прогоняю мысль, потому что она опасная. На филфаке авторов полкурса. Повторяю про себя, как мантру: полкурса, полкурса, два слога плюс два слога.

– Павел Игоревич сказал, ты пишешь, – произношу я как можно нейтральнее.

– Пишу. Вернее, писал. Сейчас в основном… – Он бросает взгляд на запястье, – записываю, что может пригодиться.

– А про что?

– Про людей, которые разговаривают и не слышат друг друга. – Он усмехается краем рта. – Звучит пафосно. Меня за это уже один раз сильно поругали.

Во мне что-то обрывается и падает вниз, как лифт.

– Кто поругал? – спрашиваю я.

– Анонимная рецензентка. Или рецензент. Я так и не понял.

Он говорит это легко, почти с юмором, но юмор у него сделан из тонкой кожи, и под ним слышно, как по-настоящему больно. Я беру кружку, чтобы чем-то занять руки.

– Год назад, – продолжает Макар. – Я выпустил самиздатом книгу. Её прочитали человек триста, из них двести пятьдесят были родственники. А потом вышла рецензия на канале, у которого подписчиков больше, чем у нашего радио. Хорошая рецензия, знаешь, из тех, где каждое слово как будто на месте. И все согласились. Под ней три тысячи лайков.

– Это много, – слышу я собственный голос.

– Это очень много. – Он смотрит в стол. – Я до сих пор думаю, что она была права. Но я хотел бы это услышать лицом к лицу. Чтобы она хотя бы видела, что говорит с живым человеком.

Он поднимает на меня взгляд, и в нём, кроме боли, нет ничего, кроме спокойной, упрямой решимости.

– Поэтому я найду её. Не чтобы мстить. Чтобы поговорить. Я уверен, что она где-то рядом, такие люди всегда где-то рядом.

Чай идёт у меня не туда. Я понимаю это в ту секунду, когда глоток уже ушёл в неправильную трубу, и дальше всё происходит быстро и некрасиво: кашель, слёзы, руки, которые машут перед лицом, как будто я отгоняю пчёл. Гоша встаёт и бьёт меня между лопаток с таким усердием, что у меня лязгают зубы. Макар вскакивает, чуть не опрокинув стул, и тоже тянется помочь, но не знает куда, и в итоге протягивает мне салфетку левой рукой, а правой зачем-то придерживает мою кружку, чтобы она не упала.

– Дыши, – говорит он. – Ты только дыши. Я не имел в виду, что ты… я про рецензентку…

– Я знаю, – хриплю я.

– Я не хотел напугать.

– Ты меня не напугал, – говорю я и сама слышу, как это звучит, и поэтому добавляю: – Скорее удивил. Ты первый человек, который хочет разговаривать с автором рецензии, а не придушить его.

– Одно другому не мешает, – признаёт Макар. – Но сначала разговор.

Гоша садится обратно, глядя на меня с таким лицом, что становится ясно: когда-нибудь он вспомнит эту сцену и спросит. Не сегодня. Но когда-нибудь.

Я допиваю остатки чая с рук Макара и думаю, что самое

страшное в этом разговоре даже не то, что он собирается меня искать. Самое страшное, что он мне нравится. Не как парень, упаси боже, я просто не успела бы. Он нравится мне как человек, с которым хочется говорить дальше. Это как найти в чужом городе кого-то, кто знает твоё любимое кафе, и вдруг понять, что он и есть тот, от кого ты прячешься.

– Ладно, – говорю я и вытираю глаза рукавом. – Давай о деле. У нас есть слот с семи до восьми и шестнадцать недель. Павел Игоревич хочет шоу, которое люди слушают. Не ради нас, а ради того, чтобы нас не закрыли. Что ты предлагаешь?

– Разговор, – отвечает Макар сразу, будто ждал вопроса. – Без шуток ради шуток. Мы берём одну тему на выпуск и говорим всерьёз. Про книги, про людей, про то, что кого-то задело на этой неделе.

– Скучно.

– Не скучно.

– Скучно. Люди включают радио, чтобы им было весело, а не чтобы их воспитывали.

– Я не воспитываю, я разговариваю.

– Ты воспитываешь. У тебя брови воспитательные.

– Одна бровь, – поправляет он и на секунду приподнимает именно её, ту, что выше. – Вторая нейтральная.

Гоша тихо фыркает. Я стискиваю зубы, потому что шутка хорошая, а признавать это неохота.

– Хорошо, – говорю я. – Тогда я предлагаю так. Мы берём тему, но разговариваем как в спектакле. Я подбрасываю шут-

ку, ты отвечаешь серьёзно, или наоборот. Один тянет вверх, другой вниз.

– Мы будем качелями.

– Мы будем шоу.

– И кто из нас вверх?

Я открываю рот и не отвечаю, потому что вдруг понимаю, что не знаю. Мы с ним только что описали собственные роли, и получилось слишком точно.

В этот момент у него звонит телефон. Он достаёт его из кармана, смотрит на экран, морщится и поднимает трубку:

– Алло… Да. Нет, я не потерял. Кто это? – Пауза. – Ах, это ты. Слушай, у тебя голос какой-то странный. Нет, в смысле, чужой. Ты простыл? – Ещё пауза. – Ну так бы сразу и сказал, что это Витя. Я тебя по голосу вообще никак не определил.

Он кладёт трубку и объясняет в пустоту, не то нам, не то себе:

– Я голоса не запоминаю. Мама обижается. Считает, что я не беру трубку, пока не прочитаю, кто звонит. Это правда. Но по тексту я узнаю кого угодно, даже по одному сообщению. Витя написал *«слушай, а ты когда?»*– и всё, сразу ясно, кто это. А по голосу могу не отличить друга от курьера, — он так неловко об этом говорит, словно виноват в этом.

Я киваю очень медленно, и внутри меня, где-то на уровне диафрагмы, происходит то, что я потом буду описывать Дине как *«ощущение, что тебе вернули билет на поезд, на который ты уже опоздала»*.Он не запоминает голоса. Зна-

чит, он не узнает, что вчера разговаривал с Полуночницей, которая сидела за этим самым столом. Мне бы радоваться. Вместо этого мне почему-то обидно, и я не могу понять, на что именно.

– Это удобно, – говорю я. – Меньше обязательств перед людьми.

– Я так не думаю. Просто у меня голова так устроена. Слова остаются, звуки уходят.

«Слова остаются»– невольно прокручиваю в голове, и кажется запоминаю ее.

Мы договариваемся ровно на то, на что можно договориться в первый вечер: никакого шоу, только пилот. Один эфир завтра в семь, пятьдесят минут, тема на выбор Макара, шутки на выбор мои, и пусть чат решает, кто победил. Гоша выкатывает условие: каждый приносит себе чай, потому что в студии чайник общий, а ответственность нет. Макар соглашается так легко, что я подозреваю подвох, но подвоха нет. Он просто хочет попробовать.

– Правило первое, – говорит он, поднимаясь. – Никаких подколов про личное.

– Это правило не для меня. Для меня подколы про личное это рабочий инструмент.

– Тогда правило первое для меня.

– А что твоё правило значит?

– Что ты можешь шутить про моё. Я не обижусь.

Я смотрю на него, и у меня в голове складывается совер-

шенно неуместная мысль: этот человек не обидится на шутку и умрёт от рецензии. Значит, дело не в тоне, а в точности. Значит, я не там искала нож.

Но подумать об этом дальше не успеваю.

Из коридора доносятся шаги. Ровные, тяжёлые, неторопливые, такие шаги бывают только у людей, чьё присутствие не нужно объявлять. Мы с Гошей замираем одновременно, и Гоша машинально понижает голос до шёпота:

– Громов.

– Громов? – одними губами повторяет Макар, и я вижу в его лице чистый, незамутнённый ужас первокурсника.

Мы стоим втроём в маленькой студии, затаив дыхание, и слушаем, как шаги приближаются, скрипят у самой двери, на мгновение замедляются… и идут дальше, к лестнице. Когда они стихают, Гоша выпускает воздух так, будто держал его с прошлой пятницы.

– Это он всегда, – шепчет он Макару. – Кабинет у него в конце коридора, и он ходит мимо нас раз по пять в день. Мы привыкли.

– Не привыкли, – шепчу я. – Притворились.

– Не-а, привыкли, – упрямится Гоша. – Просто молчим.

Макар слушает это с серьёзным лицом, потом вдруг начинает смеяться, неслышно, одними плечами, и мне приходится отвернуться, чтобы не смеяться тоже.

Уходит он через десять минут, снова зацепившись плечом за косяк. На подоконнике остаётся его рюкзак, и я уже от-

крываю рот, чтобы окликнуть, но он возвращается сам, находит рюкзак и, подумав секунду, берёт со стола мою кружку, с отбитой ручкой, и поднимает, будто в тосте.

– Можно взять на пилот? Для вдохновения. Завтра верну.

– Бери, – говорю я. И только когда за ним закрывается дверь, понимаю, что отдала ему единственную вещь в этом здании, к которой я привязана.

Гоша косится на меня.

– Ты с ним познакомилась, как с хорошим врагом.

– Что?

– Ничего. – Он пожимает плечами. – Просто я тебя такой давно не видел.

Я хочу сказать что-нибудь едкое, но вместо этого иду к окну. Там, во дворе, под единственным фонарём, Макар идёт по снегу, размахивая кружкой, как флажком, и что-то говорит вслух сам себе. Левой рукой. Рукав сполз, и на запястье видна новая запись, свежая, ещё не размазанная.

Я не могу прочитать её отсюда. И почему-то очень хочу.

Телефон вибрирует в кармане. Дина:

«Ну как напарник? Красивый?»

Я долго смотрю на экран. Потом пишу:

«Он собирается найти человека, который его разнёс».

Дина отвечает мгновенно:

«Ужас. А ты тут при чём?»

Я стираю *«ни при чём»* и пишу честное:

«Расскажу дома».

Потом стираю и это. Отправляю:
«Красивый. Ужасно».
И считаю слоги, пока она набирает ответ.

Глава 3

Соня
Ут

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.